

# МАША ТРАУБ

Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА



# **Маша Трауб**

## **Я никому ничего не должна**

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2455095](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2455095)  
Я никому ничего не должна: Эксмо; Москва; 2011  
ISBN 978-5-699-52995-7*

### **Аннотация**

Роман, который вы держите в руках, совсем не похож на предыдущие книги Маши Трауб. Это – рассказ от первого лица, история женщины, ни разу не изменившей себе и научившейся держать удар.

# Маша Трауб

## Я никому ничего не должна

Даже не знаю, с чего начать. Шесть утра. Многолетняя привычка вставать в шесть, по будильнику. Я давно не работаю, будильника у меня нет, но я все равно встаю ровно в шесть. Душ, кофе, сигарета. Я курю крепкие «Мальборо». Раньше курила больше, сейчас позволяю себе по полсигареты три раза в день. Другие мне не нравятся – ни тонкие, ни с ментолом. Сейчас такой выбор... Привыкла к «Мальборо». Однажды я попробовала «Житан» – подарили пачку. Не понравилось, невкусно.

Стою у форточки и дымлю. Странно даже. Живу одна, могу курить хоть в постели, но стою и выпускаю дым аккуратно в форточку, потом открываю окно настежь – проветриваю. Как будто меня кто-то увидит и осудит.

Кофе я всегда варю. Мелю в кофемолке зерна и варю. Тоже многолетняя привычка. Не нравятся мне все эти растворимые и молотые. Хотя удобно. Это как плита. Все уже давно поставили себе электрические, а я привыкла к газовой. Мне нужно зажечь спичкой, уменьшить огонь, чтобы кофе варился медленно. И все равно убегает.

Мне сложно сейчас привыкать к новому. Да и не считаю нужным. Кому это надо? Мне не надо точно. Только со спичками сейчас проблема – в магазине рядом с домом не всегда

есть. Что, сейчас спичками уже никто не пользуется?

Лена привезла мне в подарок такую специальную зажигалку – щелкаешь, и огонь от искры загорается. Меня раздражает, что не с первого раза. И звук раздражает.

На самом деле я не такая нервная. Возраст сказывается. Хотя какой там возраст, если разобраться? Не так уж и много лет. А глаз уже нет. Почти ничего не вижу. Руки помнят, где лежат спички, где конфорка, где ручка у форточки. Так проще жить, когда все на месте.

Убираю кровать, переодеваюсь. Так странно – ведь никого не жду, могу лежать целый день немытая, нечесаная. И далась мне эта кровать... Опять я брюзжу.

Нет, наверное, надо не так рассказывать, не про мелочи, а что-то главное. Важное. А что главное? Вот сейчас надо как-то дотянуть до восьми утра и выйти на улицу. Дойти до магазина, купить хлеба. Могу выйти и раньше, и позже, но почему-то установила себе именно это время – восемь. Хотя кому какое дело? Собачникам со двора точно все равно. Обычно они уже в это время возвращаются. Приходится здороваться, раскланиваться. Собаки лают, нюхают, рвутся с поводков. Хозяева счастливы. Улыбаются, разговаривают с ними. Сумасшедшие люди. Наверное, я им тоже кажусь чокнутой теткой – выходит ровно в восемь и шкандыбает в магазин. Иду медленно. Гуляю, чтобы растянуть, убить время.

На самом деле у меня одна нога короче другой на несколько сантиметров. Еще с детства. Но я так себя натренировала,

что при ходьбе этого не видно. Держу спину. Выкручиваю таз. Всегда ходила с идеально прямой спиной и до сих пор этим горжусь. Смотрю на своих ровесниц с идеальным «вдовым горбиком» и горжусь, что у меня спина, как у девочки. И вот что удивительно – ноги никогда не болели. Тело болит, душа болит.

Мне нельзя ложиться и принимать помощь, иначе я не встану. Нужно держать себя в узде. Нельзя жаловаться и жалеть себя – это я точно знаю. Один раз пожалеешь – понравится. Это состояние очень быстро засасывает. Да и жаловаться мне некому. Лене неинтересно – ее бы кто пожалел. Она все равно не поймет: посидит, покивает. Если что-то болит, значит, я еще жива. Так что пусть болит, пусть дает о себе знать. Я привыкла к боли. К ней привыкаешь – медленно, мучительно, но учишься с ней жить, учишься с ней, заразой, договариваться. Я с ней разговариваю, как собачники со своими собаками. Бессмысленный, безумный диалог. Я прошу ее отпустить на пять минут, на десять. Обещаю положить ноги на табуретку, повернуться так, чтобы было удобно, не двигаться. «Перестань», – требую я. Она, боль, меня слушается. Не всегда, через раз, но слушается.

Я заставляю себя двигаться. Пока я хожу, совершаю бессмысленные телодвижения – чищу зубы, мою чашку, – я живу. Это не жизнь? Да, согласна. Но другой у меня сейчас нет. А сдаваться не в моих правилах. Я всегда была упрямой. До идиотизма. Лена тоже считает меня упертой идиоткой. Не

понимает. Я и сама себя не всегда понимаю.

Время тянется медленно. Сутки резиновые. Тянутся, тянутся, никак не лопнут. Жду обеда – сажусь за стол ровно в половине второго. Гречка или салат. Ну, бульон. Я давно не могу много есть. Мне не хочется. Но надо. Я худая – кости, обтянутые кожей. Вешу сорок пять килограммов. Завидую женщинам в теле – у них есть эта радость: съесть булку, пирожное. А я не могу – невкусно. Аппетита нет совсем. Кефир люблю, свеклу вареную, фрукты. С другой стороны – я себя в таком весе могу таскать по улице. Если бы весила много – не факт, что хватило бы сил.

Ложусь я рано, в восемь. Дольше сидеть не могу. Устаю очень. Хотя от чего мне устать? Ничего особенного не делаю. Но к вечеру валюсь с ног. Знаю, что заснуть не смогу, но все равно ложусь. Как в пионерском лагере – установила себе время отбоя. Раньше могла читать, тем и спасалась. Сейчас уже нет. Не вижу. И это меня мучает по-настоящему.

Нет, все не так. Надо стереть эту запись, но я не знаю как.

Через месяц я умру. Так сказал врач, но он ошибся. Они уже несколько раз ошибались. Мне отказались делать операцию на глазах – сказали, что я наркоза не перенесу. Сердце не выдержит. Я знаю, что сердце у меня здоровое, оно бы выдержало. Но никто – я обращалась в несколько клиник – не захотел рисковать. Я их понимаю. Моя история болезни говорит о том, что я уже давно должна была умереть. Но я чув-

ствую, что мое время еще не настало. Не могу же я сказать врачам, что у меня другие ощущения. Что я обречена на Лену, на прогрессирующую слепоту, на ежедневные мучения. Да, я больна насквозь, но должна зачем-то жить. Я заговариваюсь, иногда забываю слова, вслепую пишу себе подсказки, которые не могу прочитать, но живу, дышу, и у меня давление, как у космонавта. Лена, сама гипертоник, хотя в школе всегда синела и бледнела, падала в обмороки со своим рабочим восемьдесят на шестьдесят, привезла мне тонометр. Сто двадцать на восемьдесят. И пульс ровный, четкий. Никакой метеозависимости, никакие магнитные бури меня не берут. Лена еле языком ворочает, а я не чувствую. Даже жара мне нравится. Наверное, из-за того, что я такая худая, все время мерзну. И когда Лена задыхается и обливается потом, я наконец снимаю шерстяные носки. Мне тепло и хорошо. Я всегда любила тепло. Наслаждалась жарой и испепеляющим солнцем. Всегда хорошо загорала и не считала, что это вредно. Даже сейчас загораю – на балконе, после обеда там всегда солнце. Чувствую, как согреваюсь изнутри. Озноб проходит.

Я вижу себя со стороны. Все стареют по-разному. Я иногда сталкиваюсь в магазине с одной женщиной – наверное, моей ровесницей. Она шуршит пакетиками: в одном у нее деньги, в другом очки, в третьем – яйца или хлеб. Она вечно бурчит себе под нос, переворачивает полку, думая, что вдалеке стоит свежая сметана, а впереди – просроченная. Она ведь все равно не видит дату изготовления, но всматривает-

ся, зовет продавца. На меня она смотрит недобро, даже зло. Да, я делаю маникюр, ношу драгоценности и предпочитаю брюки юбкам. Терпеть не могу пакеты – хожу с сумкой и кошельком. Каждый день привожу себя в порядок. Лена закрашивает мне седину, она же красит ногти. Нет, я не хочу ходить в старой юбке, с жидкими прядями, затянутыми в пучок, тяжело опираясь на тележку. Не хочу и не буду.

– Здравсте, – сказала мне как-то эта женщина.

– Доброе утро, – ответила я. Получилось заносчиво, знаю.

Я видела, что она хочет еще что-то сказать, но так и не решилась. Ушла перебирать помидоры.

Нет, я не сошла с ума. Это все я наговариваю на диктофон. Это была Ленина идея. Она же принесла мне эту цифровую штуку, к которой даже кассеты не нужны. Лена – Лена Карасина – моя бывшая ученица. Раньше, когда я была ее классной руководительницей, она всегда приносила мне журнал из учительской, поливала цветы в классе, вытирала доску и складывала ровными стопочками учебники. А сейчас взяла на себя роль социального работника. Хотя что значит – сейчас? Лена была всегда, не исчезала, не пропадала, как пыль на школьном подоконнике, как тряпка на доске, не отмывающаяся от мела, как вечно сухие цветы и торжественные букеты в блестящем целлофане, который я терпеть не могла.

Лена – верная, доблестная, правильная хорошистка. Из тех, кто никогда не подведет, ответит так, как написано в па-



раграфу учебника, ни слова больше, ни слова меньше. Она и в жизни такая. Ставит себе задачу и решает ее медленно, по правилам. Только в жизни эти правила не работают, они очень быстро меняются. Лена не может меняться. Не может плыть против течения, не в состоянии подстраиваться под обстоятельства. Она идет проторенной дорогой. Почему она решила взять надо мной шефство, я не знаю. И знать не хочу, если честно. Наверное, она для себя однажды решила, что так будет правильно. Бывшая ученица заботится о любимой учительнице. Обрядаться можно, так трогательно. Лене хочется, всегда хотелось выглядеть красиво в собственных глазах. Или это такой тип людей – вечных жертв, которые просят, чтобы на них возили воду, садились на шею и свешивали ноги. Только проблема в том, что Лена – одна и некому ей воду возить. Поэтому она страдает от меня – с моими капризами, циничным юмором. Обижается, мучается, но ходит, помогает. Соседки по подъезду ее боготворят – Леночка для них святая. Лена прямо светится от счастья и гордости. Подробно рассказывает сплетницам, что мне несет, что я попросила. Я для них – самодурка и сволочь, а Лена – хорошая, добрая. Такие у нас роли. К реальности это не имеет никакого отношения, потому что Лена не такая уж и добрая, а я – кто угодно, но не сволочь.

Так вот, она принесла мне диктофон – чтобы я записала свои воспоминания. Уже год я почти ничего не вижу, поэтому писать не могу. До этого она приносила магнитофон и

диски с аудиокнигами, но мне не нравятся голоса актеров, которые читают текст.

Лена стояла на пороге с коробочкой и сияла, как первоклассница с бантами.

– Что это?

– Диктофон, – сообщила она так, как будто только что ее назначили новой матерью Терезой и причислили к лику святых.

– Зачем?

– Будете наговаривать свои воспоминания, а я потом расшифрую.

– Зачем?

– Чтобы осталась память. Можно обложку сделать красивую, почти как книга будет.

– Зачем? – В этот момент я представила, как Лена выводит фломастером: «Воспоминания» – так же, как рисовала в школе стенгазету. Мне стало нехорошо.

– Что «зачем»? – Лена начала уже обижаться. – Расскажите о себе, о нашей школе, многим будет интересно почитать.

– Ерунда какая-то. Я не Любовь Орлова. Мне, например, неинтересно читать воспоминания бывшей учительницы, которая впала в маразм.

– Вы не впали в маразм. – Лена уже обиделась серьезно. – Я стараюсь, не знаю уже, чем вас порадовать, а вы сразу все отвергаете, даже не попробовав.

– Ну почему – все? Радио я слушаю. Ты мне настроила

приемник, я слушаю, а это – сдай в магазин. Дурацкая идея.  
– Не сдам, – заявила Лена.  
– Не буду я ничего рассказывать.

Лена ушла обиженная, хотя перед уходом, поджав губы, рассказала, на что нажимать, если вдруг я «передумаю».

Нет, я не передумала. Просто мне показалось это забавным. А потом, к собственному удивлению, втянулась. Сажу и болтаю без остановки. Точно – чокнутая тетка. Нет, я не убиваю время – я пытаюсь вспомнить и понять, что сделала не так, а в чем была права. Диктофон стал молчаливым и лучшим слушателем. Он даже не кивает – меня всегда раздражали такие вежливые, равнодушные кивки собеседника. Горит лампочка, которой я и рассказываю о себе, о своей жизни. Этот аппарат дисциплинирует – заставляет вспомнить главное, отсеять ненужное. Я говорю, выстраивая предложения, думая о том, что произношу и как.

Вообще-то Лену я всегда терпеть не могла. Зубрила, тихоня, зануда. С писклявым тягучим голоском. Ее голос меня всегда раздражал. Детский, высокий. Говорила медленно, сонно. Я всегда говорила быстро, отрывисто, скакала с темы на тему. Лена пока не доведет мысль до конца, не закончит предложение – не успокоится.

Бывают такие ученики, которых не любишь без причины. Вроде бы все хорошо – успеваемость, поведение, а вот не лю-

бишь, и все. Лена же ко мне приклеилась с первого дня. Ходила по пятам, тетради раздавала, подхалимничала, льстила в лицо, до тошноты.

Помню, дети писали сочинение на свободную тему. Лена написала, что я лучшая учительница в ее жизни, что она мной восхищается и хочет быть на меня похожей. Вранье от первой до последней буквы. Я не была лучшей, Лена мной не восхищалась – она меня ненавидела, но сидела на первой парте и преданно смотрела в глаза. И ничего на нее не действовало. Одно время я была к ней равнодушна – просто не замечала. Потом начала придираться. Потом злилась и снижала оценки. Лена только вздыхала и плакала. На какой-то миг я поверила в то, что она ко мне хорошо относится. Но только на миг, точнее, на один день. Я даже собиралась оставить ее после уроков и поговорить нормально. Похвалить, сказать «спасибо». Я чувствовала себя ужасно, думая, что плохо подумала о девочке, что не поверила ей. И уже готова была раскаться и признать свою неправоту. Только после четвертого урока в учительскую пришла директриса и положила передо мной листок, исписанный аккуратным ровным почерком, который я хорошо знала. Лена, анонимно естественно, написала на меня донос. Что, мол, одна учительница обижает, унижает учеников, материал дает плохо и так далее и тому подобное.

– Разберись с этим, – сказала директриса. – Это кто-то из твоих настроил. У нас тут школа, а не кухонные разборки.

Я читала бисерные строчки и покрывалась потом – Лена обвиняла меня в том, что я заставляю их читать литературу сомнительного свойства и призываю думать и оценивать поступки героев самим, а не так, как написано в предисловии и послесловии. Особенно Лену потрясло мое отношение к «Молодой гвардии». Я ведь и не помнила, что сказала тогда классу, а Лена не только помнила, но и записала. Оказывается, я не считала подвиг – подвигом. И говорила, что в жизни так не бывает. Не может быть, по определению.

Лену я все-таки задержала после шестого урока. Положила на стол ее же листок. Лена посинела, побелела и хлопнулась в обморок. Я набрала в рот воды и брызнула ей в лицо, как брызгаю на простыню, когда глажу. Убедившись, что она очнулась, я ушла. Лена лежала мокрая, сжимая в руках список претензий.

Больше мы к этой теме не возвращались. Даже не заикались. Я делала вид, что ничего не произошло, Лена особенно тщательно вытирала подоконники и лебезила, не смея поднять глаз. Я до сих пор не знаю, чего она тогда добивалась. И знать не хочу. Не знаю, почему я тогда так поступила, а не поговорила с ней по душам. И уж меньше всего я могла предположить, что последние годы своей жизни я проведу именно с Леной.

Она ходит и ходит. Помогает. Звонит через день. Приносит картошку, лук, фрукты. И никого, кроме нее, у меня нет.

А я ведь, стыдно признаться, до сих пор ее терпеть не могу. Как слышу ее голос, так трести начинается. Если в школе она еще хоть как-то соответствовала своему голосу – тягучему, высокому, на ультразвуке, то теперь, когда ей «очень сильно за тридцать», голос делает ее пародией на женщину. Мне кажется, она и замуж не вышла из-за своего голоса. Ей бы мультики детские озвучивать, какую-нибудь сонную белку. Лена и внешне похожа на белку – такую с ручками-лапками, суетливыми движениями, глазками-бусинками и тонким, маленьким ротиком. Она и ведет себя как белка: хватается за все сразу, рвется то продукты раскладывать, то посуду мыть. Бессмысленная суетливость, от которой много пыли и мало толку. Мне иногда кажется, что она может меня укусить – белки ведь кусаются, и очень больно. И ударить могут по руке. Терпеть не могу белок. Никогда не знаешь, чего от них ждать. С виду такие милые, невинные, игрушечные, а глаза злобные. Вот и Лена такая же – не могу ее понять, она меня раздражает, но я сдерживаюсь. Хотя ведь должна быть ей благодарна, признательна. Но не могу – и все. Сколько было любимчиков, никого нет, все забыли, а вот Лена осталась. Даже не знаю, зачем я ей нужна. Никакая я ей не «любимая учительница». И по-человечески, по внутреннему устройству, мы разные – одинаково несимпатичные друг другу люди, которые почему-то вынуждены общаться «через не могу». Чего ходит? Заняться больше нечем?

Странное дело, девочка Лена... С косичками и всегда коротко подстриженной челкой. Челку до сих пор стрижет коротко, а волосы не красит. Вся седая. Старая, обабившаяся раньше времени. В морщинах. Я в ее годы выглядела лучше. Хоть бы сделала с собой что-нибудь. Я ведь о ней ничего не знаю. Мне неинтересно. Да, это ключевое слово – НЕИНТЕРЕСНО.

Обычно я старалась познакомиться не только с мамами учеников, но и с папами, бабушками... Чтобы была полная картина – какая семья, какие проблемы. Я первая узнавала про разводы – по детям это сразу было видно. Они совсем другие становились – никому не нужные, недолюбленные, замкнутые на своих переживаниях и мыслях. Потом приходила мама и просила «понять», «войти в положение». Успешность сразу падала. Случались истерики, немотивированная агрессия.

Ребенок, которого воспитывала бабушка, тоже всегда был виден – по старческой суетливости или, наоборот, замедленным реакциям. У меня был такой мальчик, Паша. Никогда не бегал по коридорам, сидел в классе и потел в своей теплой жилеточке. С ним никто не желал дружить, а ему и не хотелось. Он жил с другим ощущением жизни – четко знал, что все умрут. Скоро. Зато всегда съедал обед в столовой и перекусывал булочкой. Маленький старичок.

Когда в семье появлялся отчим, я тоже сразу чувствовала. Даже не по девочкам, а по мальчикам. Девочкам было,

как правило, наплевать. Они хвастались новыми подарками и нарядами. Извлекали выгоду из семейной ситуации. Подходили трезво, даже цинично. А мальчики страдали по-настоящему, не желая делить маму с другим мужчиной. И всегда говорили о папе – «папа приедет», «папа подарил», «папа сказал». Они переживали присутствие отчима, как контрольную по математике или диктант по русскому – приходится писать, приходится терпеть. Но втайне надеялись, что папа вернется к маме и все будет как прежде. И мучились, разрываясь между любимой мамой и не менее любимым папой, вставая на сторону то одного, то другого, не в состоянии сделать выбор. И от этого сходили с ума. Один мальчик, Саша Тихомиров, выпрыгнул со второго этажа – просто встал на подоконник и спрыгнул вниз. Меня в классе не было, а дети говорили, что Сашка спокойно подошел к окну, открыл раму, как будто ему было душно, и никому и в голову не пришло, что он возьмет и прыгнет. Слава богу, жив остался, только ногу сломал. Мама прибежала тогда в школу в халате и домашних тапочках, сжимала сына в объятиях в медпункте и поливала слезами его макушку. Я никогда не видела такого счастливого взгляда у ребенка. Он лежал с видом победителя – мама досталась ему.

Я тогда смотрела на Сашу, на его маму и думала, что сойду с ума, если у меня будет ребенок. Не выдержу просто – каждую минуту бояться за него. Хотя тогда должна была бояться за себя – меня могли и в тюрьму посадить. Но я дума-



ла, что пока не хочу ребенка, не готова к таким потрясениям. Если бы я тогда знала, что мои пожелания, а точнее нежелания, будут услышаны...

У меня нет детей. И никогда не было. Я так и не стала матерью. Раньше, в молодости, я считала, что это главная ошибка, которую я совершила, а теперь... Давно все отболело. Иногда мне кажется, что оно и к лучшему.

Так вот, Ленина мама. Я всегда сразу запоминала имена учеников. Сразу же и надолго. А имена родителей не могла запомнить, как ни старалась. Не помню, как звали Ленину маму, хотя она исправно ходила на родительские собрания. Сидела тихо, вопросов не задавала, не подходила отдельно. Я не знала, как они живут, в каких условиях, да и не пыталась узнать. Думала, что все благополучно. Лена была самой обычной, ничем не примечательной девочкой. Спокойной, уравновешенной, серой до тошноты и аккуратной.

Сколько лет Лена ко мне ходит, а я даже не спросила ни разу: как там мама? Наверное, умерла уже. А был ли папа? Братья, сестры? И про Лену знаю, точнее, догадываюсь, что семья не сложилась, что детей нет. Но ведь ни разу не спросила – почему?

Вот теперь думаю: она же будет слушать запись, обидится, наверное. Да все равно. Какая мне разница – я уже давно не пытаюсь никому понравиться, угодить. Мне наплевать, что обо мне думают. Наверное, это тоже привилегия старости.

Иногда Лена не звонит несколько дней. Пропадает. Я даже радуюсь, что она оставила меня в покое. Главное, никогда не угадаешь, на что она обидится, а так бы я почаще ее провоцировала. Я устаю от нее, как от жужжащей и ползающей по оконному стеклу мухи, которую невозможно прихлопнуть.

Неделю назад у нас во всем районе телефоны отключали – линию ремонтировали. Я забыла Лену предупредить. Оказалось, что она целый день не могла до меня дозвониться. Сидела и раз в пятнадцать минут набирала номер. Я уже спала, когда зазвонил телефон.

– Александра Ивановна, как вы? – закричала она в трубку.

– Сплю, – ответила я.

– О господи! С вами все в порядке?

– Да. А почему ты разговариваешь со мной так, как будто я умерла три дня назад?

– Я волновалась! Целый день вам звонила! Вы не отвечали.

– Все? Дозвонилась? Спокойной ночи.

Лена обиделась. Наверное, я была не права. Девочка переживала, не скопытилась ли я. Наверное, это ее страхи. Помню один разговор. Лена меня спросила, не бывает ли мне страшно, одиноко? Не напрямую, конечно. Так, правой рукой через левое ухо.

– Нет, – ответила я. – А что?

– А мне бывает страшно, – сказала Лена и выпучила глаза. Она всегда так делала перед диктантами или сочинениями.

Надо было ее успокоить, пошутить, но мне уже правда все равно. Не хочу терять время на все эти бессмысленные фразы, реверансы и приторную вежливость.

Время. Очень быстро пролетело. Как-то раз – и все. А сейчас тянется, зараза, так медленно, сдуреть можно. Время такое же, как Ленин голос – тягучий до омерзения. Надо будет все-таки спросить у нее, где тут кнопка на этом диктофоне, чтобы все стереть. Опять сожмет губки и начнет бровями двигать вверх-вниз. Она и в школе так делала. И сейчас вздрагивает, морщится, когда переживает или не понимает чего-то. Может, это такая форма тика?

Надо сначала начать. Меня зовут Александра Ивановна. Это проклятие врачей и учителей – они сразу резко взрослеют. Становятся Ивановнами, Валентиновнами, Петровнами. Я пришла работать в школу пионервожатой – молоденькая, тонкая, дурная. И сразу стала Александрой Ивановной. Очень долго не могла привыкнуть – когда дети звали, обращивалась по сторонам. Думала, кого зовут? Не меня же. А потом привыкла и даже представлялась всегда полным именем.

Вот тоже странное дело. Никогда ведь не хотела быть учительницей, а проработала в школе всю жизнь. Мучительно вставала по утрам – я типичная сова, – а теперь вот расхлебываю: в шесть утра смотрю в потолок ясным взором. И детей не люблю. Нет, люблю, конечно, в широком смысле

слова. Но... сейчас я уже могу в этом признаться. Не стыдно. Наплевать. Дети силы дают, энергию. Отдавала я всегда меньше, чем брала. Они меня подпитывали. Заходила в класс, и меня как будто в розетку включали – бегала, скакала. Нет, я не жалею, что так судьба сложилась. Школа мне многое дала. Вот эту бестолковую Лену, которая, видимо, и хоронить меня будет. Больше ж некому. Она и оплакивать будет, и вещи мои разбирать.

Что еще? Андрея Сергеевича дала... Нет, пока не хочу про него. Позже. Анаконду...

Удивительное свойство памяти. Помню все про те годы. Лицо Анаконды перед глазами. Слова ее помню. Туфли. А что позавчера было – не помню. Когда я стала за собой это замечать, попросила у Лены стикеры. Писала на бумажках, приклеивала на холодильник, на стену перед кухонным столом – кто звонил, что читала, что ела. Тренировала память. А потом слова перестали уместиться на маленькой бумажке – слепнуть стала, писала размашисто. Пыталась сокращать и не могла разобрать, что накорябала. Да и нечего вспоминать. Что память сохранила – с тем и живу. По полочкам раскладываю. Иногда мне снятся сны – редко, но очень отчетливые: как я урок веду, как сочинения проверяю, как стою перед классом на родительском собрании. И всегда про школу. Даже родители мне не снятся.

Все время мерзну. Лена говорит, что надо поменять рамы

– разошлись. Поставить стеклопакеты. Не хочу. Привыкла уже, наверное. Хотя хожу обмотанная платком, в шерстяных носках. Пол холодный. Конфорки включаю, чтобы согреться. Холод до костей пробирает, хотя осенью Лена мне рамы заклеила – поролоном проложила, ватой, бумажными полосками залепила. Все равно сквозит из всех щелей. По полу тянет. Лена говорит, что стеклопакеты – это звукоизоляция. Ничего не будет слышно. Ни одного звука с улицы – ни машин, ни разговоров. А я боюсь этой тишины. Привыкла, что всегда галдеж стоит, фоном – крики, взвизги. Включаю телевизор – уже картинку не вижу, а только для того, чтобы гул был, разговоры в ток-шоу. Сейчас там все кричат, кто кого перекричит. Как дети. Лишь бы не тишина. Когда тихо, я начинаю к себе прислушиваться – слышу сердце, шум в голове. Нет, пусть будут старые окна. Пусть жизнь за окном. Иногда я слышу, как поет соловей. Правда. Хотя откуда ему взяться в наших пятиэтажках? Но поет.

Иногда мне становится жаль, что у меня нет хобби, занятия какого-то. Вот моя соседка в палисаднике перед домом копается. Сама, никого не подпускает. Полет, сеет, все время, как ни пройду, стоит кверху задницей. Цветочки сажает – и счастлива. Дело у нее есть. А у меня нет. Я к земле равнодушна. У меня рука тяжелая – ничего не растет. А соседка кусты сирени посадила, и теперь запах по утрам сумасшедший. Я открываю окно, курю и дышу сиренью. Она тоже встает рано. Особенно летом. Поливает, хмурится, выдержи-

вает невидимые травинки. Я ей завидую. Так, по-хорошему. Хотя вижу, что ей тяжело наклоняться – она как-то бочком стоит. То ли ноги не гнутся, то ли живот мешает – она полная, тучная, тяжело дышит, пот вытирает. Ноги мозолистые, пальцы болезненные, пятки все в трещинах. Руки тоже уже артритные. Одна рука вообще усыхает. Почти не двигается. А она все ковыряется.

Прохожие или соседи останавливаются, спрашивают названия цветов. Она ни с кем не общается. Отвечает, но разговор не поддерживает. Они ей мешают, все эти случайные люди. А если советовать начинают или рассказывать про свои посадки, она встает задом и плевать на всех хотела. Мне она нравится, честно. Я могла бы с ней подружиться – мне нравятся ее ромашки, васильки, которые она сажает. Терпеть не могу срезанные цветы в вазах, хоть и учительница. Лена знает, что лучше мне пачку сигарет принести или кофе, чем букет. А когда цветы начинают увядать и вода в вазе становится мутной, с болотным запахом, мне становится совсем плохо. Не могу смотреть на засыхающие бутоны.

– Выброси цветы, – прошу я Лену.

– Они еще могут постоять, – сопротивляется она.

– Выброси.

Запах смерти – это запах увядающих цветов и гнилой воды.

К чему это я? Да к тому, что я все время мерзну. Вспомнила вдруг, как ездила со своим классом и Андреем, Андре-

ем Сергеевичем, в Ленинград на экскурсию. На зимние каникулы. Дети были румяные, возбужденные, а меня как будто заморозили. Проложили льдом изнутри. В автобусе, помню, смотрела в окно. Он остановился на светофоре, и я увидела здание – красивое, с лепниной на каждом окне. И сверху, как на козырьке, сидел голубь. Птицы не двигались. Казалось, что они – продолжение лепнины. Я еще удивилась – высоко, как они туда взлетели? И почему сели на эти совершенно неудобные уступы? Там ведь продувало, сносило ветром буквально. Вдруг один голубь пошевелился, с его перьев полетел снег. Я чуть сознание не потеряла – мне показалось, что дом весь зашевелился, начал стряхивать с себя снег, сосульки эти ужасные, огромные. Голубь слетел со своего пьедестала, и на его место сел другой. Сел и замер. Дом опять стал холодным, вымороженным. Это был явно жилой дом, но в окнах не горел свет. Темные окна без занавесок, без признаков жизни. И таких домов было много. Даже слишком много. Мне стало душно. До музея я доехала в полуобморочном состоянии от необъяснимого, внезапно накатившего уныния, страха и ощущения, что живу зря, что я как тот голубь – не подаю признаков жизни.

Дети бегали по музеям, задавали вопросы, а я смотрела на Неву, заваленную снегом, и хотела умереть. Мне казалось, что из меня вынимали душу. Дом, дети, эти мерзлые птицы... Они будто высасывали из меня энергию, все силы, и им было все мало, все не хватало.

Я рассказывала детям про Достоевского, мы смотрели дворы-колодцы, а я все время боролась с приступами паники, которая наваливалась тошнотой, обмороком. Дети все время хотели есть, я тоже не могла наесться. Съедала немислимое для меня количество еды и бежала в туалет. Там, примерзая к ледяному ободку унитаза, считала часы. На сколько меня еще хватит? А ему, Андрею Сергеевичу, – так уж совпало, что мы вывозили на экскурсию два класса – все нравилось: и Нева, заваленная одним громадным грязным сугробом, и сосульки... Я медленно умирала, а он возрождался – хотел непременно поехать в еще один музей, незапланированный. Я мечтала лечь и уснуть беспробудным сном. Он жаждал действий. Мне казалось, что одна сосулька вот-вот упадет и пронзит меня посередине. Мы шли, пробирались по узким, протоптанным людьми тропкам, между домами – медленно, гуськом. Он все время смеялся. А я плакала, не могла сдержать слез – без видимой причины, но так горько, что не могла остановиться. Только боялась, что дети увидят и начнут задавать вопросы, на которые у меня не было ответа даже для самой себя.

Еще помню его знакомую, с которой мы встретились в Ленинграде. Она была то ли бывшей женой его друга, то ли еще кем-то. Художница. Совершенно лысая. Худая, плоская и маленькая. Со спины казалось, что идет мальчик. Если бы не ее морщины, длинные, яркие – такие лица быстро стареют, – я бы ни за что не дала ей ее возраст. Это лицо совсем



не вязалось с поджарым тельцем. Издалека я подумала, что она лысая. Потом оказалось, что у нее просто очень короткая стрижка. Светлые волосы, почти младенческий пух. Она была мне неприятна, мне хотелось уйти, а он радовался, шутил, говорил, что она прекрасно выглядит. Я еще подумала, что у него не все в порядке со вкусом – ну как может нравиться такая... даже не женщина. А пародия какая-то.

Мы сидели в кафе, где вместо кофе дали дурно пахнущее пойло. Они без конца говорили – о Русском музее, о каком-то художнике из знакомых. Я молчала. Даже слово вставить не могла. Я просто не понимала, о чем они говорят. Чувствовала себя полной идиоткой.

Андрей смеялся ее шуткам – на мой вкус, слишком злым, слишком пошлым. Я не понимала, над чем он смеется, и это раздражало еще больше. Я злилась на себя, на Андрея, на эту дамочку.

Опять я вспоминаю не то. Вот врезалась в память эта лысая художница. А другие лица не могу вспомнить. Его лицо, лицо Андрея, не помню. Совсем. И фотографий не осталось. Выбросила давно целую коробку, без сожаления. Хотя там были хорошие фото – моих учеников, меня молодой. Теперь жалею. Или это старость, которой свойственно ковыряние в старых вещах и такое невинное скряжничество – ничего не выбрасывать, а вдруг пригодится? Я всегда легко расставалась с хламом. Легко выбрасывала – старые вещи, надколо-

тые чашки. Мне нравились новые скатерти, новые занавески, тарелки, ложки, полотенца. Нравилось ощущение новизны, чистоты, незамытости и незастиранности. Сейчас не выбрасываю. Сажу и обрастаю ненужными безделушками, которые приносит Лена: скляночками (крупы пересыпать), пустыми банками (варенье переложить или соленья, хотя я давно не ем ни того, ни другого), ведрами и тряпками – одна для пыли, другая для стекла, третья, пятая.

Ладно, попробую сначала.

Мама считала, что если девочке дать мужское имя, то она многого добьется в жизни – мужское имя определит твердый характер. Папа хотел назвать меня Жанной или Эллой. Он как раз испытывал слабость к таким вычурным именам – Стелла, Белла – с двойными согласными, которые обожал. Эти длинноты казались ему невероятно привлекательными. Беременная мной мама махала в ужасе руками. Первую неделю жизни я была Кирой. Но мама, уже придя оформлять свидетельство о рождении, вдруг передумала и записала меня Александрой. Сашей.

Как ни странно, папе даже понравилось сочетание этого решительного «др». Он всегда называл меня полным именем – никаких Шурочек и Сашенок.

Родители были врачами. Папа хирургом, мама – терапевтом. Я очень хорошо помню папины руки. У него была совсем не мужская рука: маленькая, изящная, узкая – шестой

размер перчаток, – с тонкими аккуратными пальчиками. У мамы, наоборот, была, как шутил папа, крепкая крестьянская рука: тяжелая, с широкой ладонью. Папа иногда не мог найти свои перчатки в тумбочке и носил мамины, женские. Они ему были великоваты. Память сохранила этот миг – как он стоит около лифта в женских перчатках, а я в пижаме рядом – провожаю. Я всегда провожала его по утрам до лифта. Лифт был старый, с двумя дверями. Дверка-раскладушка с «секретом»: плотно не закроешь створки – не поедешь. И тяжелая, грохочущая дверь-застенок. Я до ужаса боялась ездить в нашем лифте – остаться там замурованной, захлопнутой. И за папу боялась.

У нас с ним был такой ритуал, символизирующий начало дня, – он махал мне из-за решетки, а я смотрела, как опускается в шахту кабина... И только после этого шла умываться, чистить зубы, собираться в школу. Мама рассказывала, что когда я была совсем маленькой, то никак не могла понять, что папе не нужно на работу, если суббота или воскресенье и нет дежурства. Отказывалась идти есть, с плачем подходила к спящему папе и будила его. Успокоить меня они не могли. Папе приходилось вставать и изображать уход на работу. Я тут же переставала плакать, и все шло как обычно. Даже то, что папа спускался, накинув на пижаму пальто, на первый этаж и тут же поднимался – возвращался домой, меня не смущало. Главное – проводила. Все, как положено. Родители смеялись и говорили, что я вырасту консерватором, что,

кстати, оказалось правдой. Мне нужны ритуалы, я привязана к привычкам, к распорядку, который сама себе и устанавливаю.

Считалось, что папа – гений. В молодости я в этом сомневалась – не верила, что гении могут жить, есть, одеваться, ложиться спать. Мне казалось, что все гении должны быть мертвыми – Эйнштейн, Ньютон, Леонардо да Винчи. Поэтому представить своего папу гением я никак не могла. Даже когда собирались гости – папины коллеги, которые произносили тосты и пили за папин талант, за его гениальное чутье, за чудеса, которые он совершал на операционном столе, я хмыкала и надувала губы, как делают все подростки в период отрицания всего на свете.

А сейчас у меня нет никаких сомнений – папа был совершенно гениален, как и мама. Каждый по-своему.

Мама же всегда признавала главенство папы – и профессиональное, и интеллектуальное, и бытовое, если так можно выразиться. Говорила, что она просто хороший ремесленник, а папа – настоящий талант. Она умеет лечить людей, а папа – спасать.

Папу обожали все – от медсестер до молодых коллег, вчерашних студентов. Он, как я понимаю теперь, обладал харизмой – и мужской, и деловой. Невероятное сочетание. Он умел и обаять, и убедить. Мама им восхищалась и даже не скрывала этого. Мне кажется, ее завораживала та черта характера папы, которой не было у нее самой.

Папа разговаривал на равных и с санитаркой, и с профессором. Не делал разницы. Для него они были равны. Мама же четко соблюдала субординацию – она была врачом и вряд ли знала, как зовут санитарку. Папа же знал, как зовут детей и внуков санитарки, и всегда справлялся об их здоровье и успехах. Мама считала это лишним знанием. Они были по-разному устроены. Почти во всем.

Мама говорила громко, как учительница. Разговаривала с пациентами так, что было слышно за дверью. А если пациент не понимал, упрямылся или отказывался от лечения, мамин крик был слышен на всю поликлинику.

У папы был тихий голос. Очень тихий. До такой степени, что мы с мамой практически читали по губам. И очень красивый тембр – глубокий, сочный. Когда он говорил о чем-то важном или волновался, то переходил практически на шепот. И удивительно – все вокруг умолкало и начинали слушать. Папе нравилось читать лекции, выступать, учить, быть в центре внимания. Он и на операцию выходил как на сцену. Это был только его спектакль, бенефис. Мама рассказывала, что после удачной операции он вскидывал руки и кивал, будто кланялся восхищенной публике. Надо признать, что публике было чему аплодировать.

Мама же не ждала оваций и благодарности. Она отчитывалась только перед собой – сама себя хвалила и сама себя ругала. Чаще ругала, чем хвалила. Она всегда была недовольна собой – в сложных случаях не находила себе места. Долго

прокручивала в голове, что еще могла сказать, что еще прописать.

Папа практически всегда был уверен в успехе, в результате. Он в себе не сомневался. Или не показывал виду? Не знаю.

У папы было много учеников, преданных, толковых, талантливых. Правда, у него была еще одна особенность. Он был влюбчив. Влюблялся в человека и превозносил его до небес. Только эта любовь была хоть и яркой, мощной, но очень кратковременной – он мог так же быстро разочароваться во вчерашнем любимчике и «поставить на нем крест». Мама же никогда не доверяла первому впечатлению, ее уважение и расположение нужно было завоевывать, она проверяла «на вшивость» долго и тщательно. Зато, проверив, приняв и начав уважать, никогда не отказывалась от своего мнения, что бы человек ни сделал и что бы о нем ни говорили. Она стояла за «своих» до конца. Папа же «сдавал» спокойно и без жалости.

– Ты, как барышня или весенний ветерок, – сердилась на него мама, когда папа рассказывал ей об очередном талантливом «мальчике». – Люблю, не люблю... Завтра же плюнешь и к черту пошлешь. Так нельзя.

– Только так и можно! – горячился папа. – Нужно очаровываться и разочаровываться. Полумер не бывает.

– Бывает. Человек может быть «практически здоров». Нет идеальных людей. Нет абсолютно здоровых.

– Я не хочу. Мне так неинтересно, – обижался папа, как ребенок.

И мама знала, что не сможет его переделать и переубедить.

Евгений Соловьев был последним папиным любимчиком. Папа звал его в наш дом и всем рассказывал, какой Женечка талант, какой самородок. Женя в это быстро начал верить.

– Не надо так превозносить мальчика, – сказала мама папе, – он еще молодой. Поверит тебе и начнет делать ошибки.

– А если не поверит, то у него ничего не получится. Пусть лучше будет завышенная самооценка, чем заниженная. Как у меня! – Папа хохотнул.

– Он не ты, не сравнивай, – ответила мама, – твоему Жене еще учиться и учиться, а он уже мнит себя великим хирургом. И ты ему в этом потакаешь.

– Чего ты на него взъелась? – удивился папа.

– Не знаю. Он мне не нравится. Мне кажется, в нем есть какая-то червоточинка.

– Вот поэтому он мне и нравится. Он личность. Даже ты на него внимание обратила. Вон, как разозлилась. Значит, он точно не такой, как все! – радостно воскликнул папа.

– Поступай как знаешь, – махнула рукой мама, – но не давай ему заниматься самодеятельностью. Дров наломает.

– Пусть ломает. Из самодеятельности выходят талантливейшие актеры. – Папа был в своем репертуаре.

Мама до конца жизни дергалась, если встречала людей с именем Женя или с фамилией Соловьев. Фамилия достаточно распространенная, так что, заглядывая в карточку, она дергалась часто. Ничего не могла с собой поделаться. Приходил к ней больной на прием, мама смотрела в карту, видела фамилию Соловьев и... нет, ставила диагноз, лечила, но через силу. Через «не могу».

Женя Соловьев не был талантлив или умен. Он был из упертых. Брал, что называется, задницей – тихой сапой, медленно, мучительно... Мне кажется, папа это понимал. Не мог не понимать. Просто своими дифирамбами он хотел подбодрить усидчивого, добросовестного, но лишенного блеска юношу. Женя был не из Москвы, откуда-то из глубинки. Юноша с тяжелой судьбой, чуть ли не сирота. Пробивался сам, никто не помогал. Крутился как мог, ни от кого не ждал помощи, от этого стал злым. Он хорошо знал, чего хочет, – написал себе обязательства на личную следующую пятилетку. И шел к своей цели. По трупам идти не приходилось, так что Женя особых моральных страданий не испытывал. Он очень быстро понял, что знания – это хорошо, но есть в человеке тщеславие – кнопка, нажав на которую можно получить практически все, что хочешь. Женя Соловьев был профессиональным, изысканным, тонким подхалимом. Подхалимом по призванию, по зову сердца. Он шел по жизни под девизом «Лесть? Наглая? В лицо? Приятно!!!». И надо признать, он добился немалых успехов. Во всяком случае, сумел понра-



виться папе, который взял его под свое крыло, стал опекать.

Может, папе, не лишенному тщеславия, самолюбования и даже гордыни, которую он вовсе не считал грехом, а, наоборот, достоинством, нравилось такое слепое идолопоклонство. Женя ходил за папой по пятам, записывал каждое его слово, был услужлив, всегда под рукой. Мама считала, что искренности в Жене – кот наплакал. Она не верила ни единому его слову. Папа с мамой даже ругались из-за Жени.

– Чтобы в моем доме его больше не было. Не пущу. Меня тошнит от него. Лебезит, заискивает. Глазки его масленые, улыбочка мерзкая. Мне противно. Неужели ты этого не видишь? Неужели тебе это нравится? Неужели он может нравиться? Чего ты с ним носишься как с писаной торбой? Или ты получаешь удовольствие от того, что он тебе туфли целует? – не сдержалась однажды мама, и папа с ней несколько дней не разговаривал.

Мама убеждала папу в том, что он просто вписывается в Женин жизненный план, только и всего. И тот предаст его, учителя, при первом удобном случае. Папа же считал, что только на Женю он и может положиться. Да, на такого туповатого, зашоренного, без блеска, зато с хорошей школой, выучкой и дотошностью. На того, кто вынужден биться за свое место под солнцем, быть злым, напористым и наглым. На того, кому терять нечего и некого.

– Послушай, он вырос в детдоме, выбился в люди, не спился, за одно это его можно уважать! – кричал, то есть зловеще

шептал, папа, когда все аргументы заканчивались. Он всегда так делал. Когда мама восставала против кого-то, папа бросался на защиту, даже если был не прав.

Мама бессильно замолкала.

– Ну чего ты? – тут же отходил папа. – Нам что, поговорить больше не о чем? Бог с ним, с этим Женей Соловьевым.

– Я чувствую, что что-то не так, понимаешь? – Мама однажды даже расплакалась, чего себе не позволяла почти никогда, тем более в присутствии мужа или ребенка. – Не знаю. Считай это женской интуицией. Я просто ощущаю беду. От него, от этого твоего Жени. Не могу объяснить.

– Ну, перестань, ей-богу. Что за бред? – всплеснул руками папа.

Спустя время мама Женю начала ненавидеть – слепо, яростно, до истерики. Папа смеялся и говорил, что да, так бывает. Не нравится человек – и все тут. Все в нем раздражает – как стоит, как говорит, как пальто надевает. Отторжение на подсознательном уровне, как химическая реакция. То же, что любовь, когда с первого взгляда. Наука, никакой лирики.

Папа всегда был идеалистом и романтиком и дальше своей операционной ничего не видел. Диагноз мог поставить на расстоянии, а дома становился слеп, как крот. Сейчас я понимаю, какой он был замечательный, какой умный – таких мужчин больше нет. Во всяком случае, мне такие не встречались. Папа был добрый. Очень добрый, великодушный. И

всегда всех оправдывал. Не видел в людях плохого, дурного, пакостного. Не хотел видеть. Как будто у него стоял защитный барьер – пропускать только хорошее. Да, «идеалист» – правильное слово.

– Ты как дурачок-юродивый, – говорила ему мама, которая в отличие от отца твердо стояла на земле обеими крепкими, как и руки, крестьянскими ногами. – Нельзя всех любить и для всех быть хорошим. И люди плохие. Злые и завистливые. На грамм хорошего отвесят килограмм дерьма. Человек так устроен – ему всегда что-то нужно, он всегда чем-то недоволен, всегда чего-то не хватает.

– Мне ничего не нужно, у меня все есть, – улыбался папа. Мама качала головой.

К счастью, папа так и не узнал, почему мама так ненавидела Женю. Хотя... если бы и узнал, то не поверил.

Мне кажется, мама очень любила папу. Преклонялась перед ним, уважала безмерно. Понимала, что он уникальный, удивительный. Она готова была сделать для него все, что угодно, лишь бы ему было хорошо. Нет, она правда любила его, как может любить не очень привлекательная, не очень успешная, не очень талантливая и очень, очень уставшая женщина мужчину, который был ей не парой. Рядом с папой должна была быть такая же блестящая красотка, ему под стать. Мама была лишена и блеска, и красоты. Мне кажется, она была благодарна папе за свою судьбу. За то, что он взял ее замуж, за то, что она родила дочь, меня. За то, что у па-

пы и в мыслях не было найти ей замену. За дом, за работу, которую мама, надо признать, получила не без папиной протекции.

Нет, я не обвиняю маму. Я не знаю, как ей жилось, о чем она думала, когда подолгу молчала, глядя остановившимся взглядом в окно. Может, она была не так счастлива, как хотела казаться? Кто знает? Я так и не спросила.

Это качество у меня от папы. Я не задаю вопросов, не интересуюсь. Всегда считала, что личные размышления, рефлексию, нужно держать при себе. Мне всегда были противны откровения, душевные излияния. Наверное, поэтому и подруг у меня не было. Кроме Люськи... Тоже вот странно, почему мы с ней подружились. Не знаю. Потом об этом расскажу.

На работе... Да, забыла сказать, я – преподавала русский и литературу, всю жизнь проработала в одной школе – как пришла после института, так до пенсии и осталась. Так вот, я всегда выходила из учительской, когда начиналось перемывание костей – кто кому что сказал, у кого муж вчера поздно пришел, что свекровь устроила... Особенно раздражала меня Галина Викторовна, математичка. Та приходила утром, бухала свою вечно грязную, порванную, забитую всяким хламом сумку на стол и начинала «отчет»: на ужин котлеты накрутила, полы помыла, погладила, а муж пришел нет, не пьяный, но подшофе. Наорал. Телевизор сел смотреть.

Дети достали совсем. Сын хамит. Дочка гульная не понятно в кого – одни мальчики на уме. Учиться не хотят. Наказание одно, а не дети.

– Зачем рожали? – не выдержала я.

Галина Викторовна посмотрела на меня так, будто я ее последнюю котлету сожрала.

– Что? – переспросила она.

Все, кто был в учительской, уткнулись в журналы и тетради.

– Зачем рожали, если наказание? – повторила я твердо.

Галина Викторовна вдруг заплакала. Затрясла губой и заплакала. Все кинулись ее успокаивать – платок, водичка, валерьянка. И на меня смотрели так, будто я что-то такое сказала, за что меня на костре надо немедленно сжечь, как ведьму.

Я вышла. Мне было противно смотреть и слушать, как Галина Викторовна вытирает лицо чужим платком, сморкается и подвывает.

С тех пор мы с ней не разговаривали. Галина Викторовна, как только меня видела, делала оскорбленное лицо. Вся школа считала, что я должна извиниться. Я совершенно не понимала за что.

Потом все как-то поутихло. Никто и не помнил, почему мы с Галиной Викторовной друг друга «не любим», как говорили дети. Мне кажется, даже она не помнила. Все было тихо, пока от нее не ушел муж. К стерве, конечно же. Учи-

тельская гудела, как разворошенный улей.

– Увела! – заламывала руки в учительской Галина Викторовна. – И дети не остановили. Вот гадина, ничего святого.

И все кивали – да, стерва, как есть, и совали платки, водичку и валерьянку.

– Он что, баран на веревке? – спросила я.

– Кто? – ахнула Галина Викторовна.

– Муж ваш. Что значит – «увела»? Сам, наверное, ушел. Своими ногами.

После этого я стала в школе изгоем, что меня, кстати, вполне устраивало. Когда я заходила в учительскую, все разговоры тут же смолкали. Ко мне никто не подходил с просьбой поменяться уроками, меня не звали на междусобойчики по случаю Дня учителя или дня рождения, так что стало даже легче. Только Андрей Сергеевич со мной разговаривал как раньше. А может, даже чаще, чем раньше.

– Вы хулиганка, – говорил он, – дебоширка и авантюристка. Вы мне нравитесь.

Я понимала, что это – просто слова, но мне было очень, очень приятно.

Опять я про него вспомнила... Вот что делать с памятью? Помню его слова, тогда, еще в самом начале. Помню его руки – всегда нестриженные ногти. Терпеть не могу мужчин с нестриженными ногтями – то ли из-за папы, который состригал все до мяса, следил, чтобы ни одного заусенца не бы-

ло, то ли из-за мамы, которая никогда не ходила к маникюрше, подстригала ногти своими старыми давно затупившимися любимыми маникюрными ножницами и покрывала бесцветным лаком. Только однажды она покрасила их красным лаком – кто-то из девочек-медсестер то ли уговорил, то ли лак подарил. С работы мама вернулась с алыми ногтями, и когда ее взгляд падал на руки, она дергалась и прятала руки за спину, как школьница. Смотрела так, будто руки были не ее, чужие. Промучилась остаток вечера, ночь, а утром стерла лак ацетоном. Не смогла носить на себе такие красивые, яркие руки. Кстати, ей лак действительно шел. Оказалось, что пальцы у нее правильной формы, длинные, красивые. И ногти ровные и крепкие, не слоющиеся.

Андрей Сергеевич за руками не следил вообще. Меня это раздражало. Я все время смотрела на его руки. Думала, как бы ему сказать поделикатнее, чтобы не обиделся. Смотрела и смотрела. Так ничего и не сказала, конечно. Никогда не говорила. Только всегда хотела взять его руку и подстричь ногти над раковиной, как делала мне мама. Тоже под корень. Я об этом даже мечтала – что вот так возьму, сожму его ладонь и аккуратно подстригу. У каждого свои мечты. У меня была такая вот, дурацкая.

Рассказать про другое хотела. Опять отвлеклась.

Мама, папа и Женя Соловьев.

Я знала, что у мамы был с Женей роман. Даже не роман – у них была связь. Мама не знала, что я знаю. А я бы ни за

что в жизни не призналась – ни ей, ни папе. Это случилось в самом начале – Женя тогда стал регулярно появляться у нас в доме. Папа его приглашал, оставлял на ужин. Женя делал маме комплименты. Восхищался. Я не знаю, чем он так привлек маму. Хотя нет, знаю. Маме было приятно. Очень приятно. Возможно, она тоже была тщеславна, как и папа, только виду не подавала. А возможно, ей просто не хватало папиного внимания. Папа ее никогда не хвалил, не делал комплименты. Наоборот, когда мама рассказывала ему о своем «сложном» случае, смеялся и бухал перед ней медицинский справочник. Мол, ничего сложного, классический случай.

– Вот вроде умная женщина, а тут – дура дурой, – смеялся папа.

Мама смеялась в ответ.

И вдруг впервые в ее жизни появился человек, который говорил, что она самая умная и самая красивая. Наверное, мама на это и поддалась. Хотя кто знает? Папа пропадал в больнице на операциях, а Женя в любую свободную минуту шел к нам домой. Бегал в магазин за хлебом, чтобы утром были свежие гренки – для папы, конечно же. Носил сумки с продуктами. Тоже для папы – чтобы вкусненько, полезно. В химчистку? Пожалуйста. За рубашками для папы – чтобы свежие, отглаженные, пахнущие химией. Этот запах папа очень любил. Мама поэтому и не стирала сама его рубашки. Они были чистые, идеально отглаженные, но папе они не нравились – запах не тот. А после химчистки тот. Ядреный,



шибающий в нос, когда перерезаешь бечевку и разворачиваешь коричневую бумагу.

Может, Женя заговорил маме зубы. Может, она поверила в его искренность? Или подумала, что папа не стал бы так превозносить бездарность? Или ей было одиноко? Или она просто хотела вызвать ревность, привлечь внимание папы? Много лет я пыталась найти объяснение и так и не смогла – причин могло быть много. Но я точно знаю, что это была не любовь, не душевная близость. Скорее, помутнение рассудка, забытие. Короткое, дурное, как сон после пяти вечера, и гадкое. И я знаю, что мама себе этого так и не простила. И Жене не простила. Что это значило для Жени? Мне кажется, это очевидно – мама была частью его стратегии. Он хотел завоевать еще одного союзника. Рассчитывал на прямо противоположный результат. Он, мне кажется, думал, что через маму сможет влиять на моего отца. Но вышло все наоборот – он обрел яростного, но, увы, бессильного врага.

Я тогда пришла из музыкалки раньше, чем должна была, – учительница заболела, и урок отменили. Открыла дверь своим ключом и сразу пошла в свою комнату. Ходила я тихо – мама приучила, чтобы папе не мешать. Из спальни раздавались звуки. Я подошла и увидела маму с Женей. Так же тихо я ушла, дошла до музыкалки, простояла там все время урока и опять вернулась домой. Мама на кухне готовила ужин. Все было как всегда. И мама – самая обычная. Я даже подумала, что мне это все показалось. Жени не было. Потом пришел

папа, и мы все вместе ужинали.

Тогда я решила, что если папа и мама обычные, значит, ничего не случилось. Значит, все нормально, поэтому ничего не сказала. А кому я должна была что-то сказать? Маме? Папе? Зачем?

Женя все так же приходил – менял лампочки, чинил утюг, розетки. Он был в бытовом плане «рукастый», как говорила мама. Ничего не менялось. Только я больше не приходила домой тогда, когда меня не ждали. Если отменялся урок – гуляла или просто сидела в коридоре школы. Когда моя учительница музыки заболела и легла в больницу, я ходила как будто бы на занятия. И молчала, как партизан.

Даже когда мама узнала, что у меня уже два месяца нет занятий по специальности – учительница так и не вышла на работу, – я не стала объясняться, просто сидела и молчала.

– Почему ты меня обманывала? – спрашивала мама. – Где ты ходила? Почему мне не сказала?

Я смотрела в пол.

– Если ты ходила в кино или была у подружки, так и скажи. Я пойму и не буду ругаться. Но я должна знать, что ты делала.

– Ничего. Сидела в школе, – буркнула я, – делала уроки, читала.

– У тебя что-то случилось? Расскажи мне. У тебя неприятности? Ты поругалась с кем-то из одноклассников? Тебя дразнят? Обижают? – допытывалась мама.

– Нет, ничего. Все нормально.

– Ты можешь мне все рассказать. Я пойму. Обещаю. Только не ври.

– Нечего рассказывать.

Мама знала, что я не расколуюсь – слишком упертая. Она покачала головой, и больше мы к этому разговору не возвращались. Мне в музыкалке дали замену, так что больше врать не приходилось, хотя мама еще долго смотрела на меня внимательно и подозрительно.

Папа взял Женю на работу в свое отделение на полную ставку. Сначала сомневался, думал, тянул, а тут сразу взял. Хотя кто знает, почему так вышло? После этого мама изменилась – потемнела лицом. Не улыбалась, была вся в себе, в своих мыслях. Подолгу смотрела в окно. Папа ничего не замечал.

Женя больше не носил продукты и рубашки, не чинил розетки. Тоже пропадал в больнице. Мама стала на меня кричать. Никогда не кричала, а тут вдруг начала срываться. Если раньше она не обращала внимания на то, что я не помыла за собой тарелку, спокойно мыла сама, то теперь устраивала целый скандал.

– Сколько можно? Ты что, специально это делаешь? Нарочно?! – закричала она однажды вечером, убирая за мной чашку из комнаты, платье с пола в ванной, учебник с дивана.

– Сейчас я все сделаю, – ответила я.

– Сейчас уже не надо! – заорала мама и бросила чашку на пол. Не уронила, а бросила.

– Что с тобой происходит? – Папа все-таки обратил на нее внимание. – Устала? Неприятности на работе? Плохо себя чувствуешь?

– Ничего. Все нормально, – огрызнулась мама.

Папа промолчал и ничего не ответил, продолжил читать журнал, насвистывая себе под нос мелодию. Больше он на маму не смотрел. У него было это качество – раз нет жалоб, то нет и проблемы. Он не стал расспрашивать, приглядываясь к маме – занялся своими делами.

Но с того вечера маму опять как будто подменили. Она больше не кричала, не срывалась, но было видно, что ходит вся напряженная, натянутая, как футбольный мяч. Вот-вот взорвется и лопнет. Но она не взрывалась и не лопалась – контролировала себя, особенно когда папа был дома. Придумала уловку – сидела над раскрытой книгой или журналом и делала вид, что читает. Со стороны все выглядело нормально. Только я замечала, что мама не переворачивает страницу. Сидит, упершись взглядом в одну строчку, и думает о чем-то. А книга – так... Чтобы папа не заметил ее настроения, для отвода глаз.

Мне кажется, что после того, как папа взял Женю на работу, у них с мамой закончились отношения. Или это случилось раньше?

Мама страдала. Очень. Она похудела, перестала спать. У

нее начались головные боли. Она морщилась, терла лоб. Но болела не голова, а сердце. Она чувствовала себя обманутой, использованной, преданной. Или боялась, что узнает папа? Или поняла, что никакая она не красавица, не умница, а все эти слова, которые произносил Женя и в которые она поверила, пусть на короткое время, да хоть на один вечер, были пустыми и злыми, как Женин взгляд, когда ему казалось, что никто его не видит. Для мамы, как для женщины, это стало ударом. Ей очень хотелось себя обманывать – верить в то, что она может быть желанной, красивой, может нравиться. Ведь папа, пусть в шутку, подчеркивал, что красавиц в его жизни было много, а добрая встретилась только одна – мама. Поэтому он на ней и женился. Мне кажется, маме было больно это слышать.

Только я заметила, что после этого, ну, после всей этой истории она перестала смеяться. Совсем. Хотя раньше могла хохотать без повода. Она была смешливая по натуре. Я помню. А потом вдруг как отрезало, больше не смеялась. Никогда. Стала ровной, всегда в одинаковом настроении, спокойной, молчаливой и уравновешенной. Мне кажется, в те моменты, когда мама сидела вот так с книгой на коленях, она внутри и плакала, и смеялась, и разговаривала с неведомыми мне собеседниками – проживала какую-то другую, параллельную, жизнь. А потом стала ненавидеть Женю.

Уже много позже, когда я выросла, то додумалась вот до чего. Это было как взрыв в голове, как прозрение: а вдруг

мама полюбила этого Женю? Полюбила не так, как любила папу, а увлеклась? Вдруг для нее это была первая и единственная страсть в жизни? А он от нее отказался. Просто и легко. Ведь за папу она выходила замуж с «холодной головой». Не по расчету, нет, но и любовь пришла не сразу, а со временем. Даже не любовь, а то чувство, которое больше и сильнее – когда уже есть семья, быт и мужчина, которого знаешь даже лучше, чем он сам себя. И она жила дальше, зная, что никогда больше у нее такой страсти, такой близости не будет, потому что она больше никогда не позволит себя бросить. Потому что никогда не решится на такие отношения. Потому что ей было так больно, как не было никогда. Еще раз пережить такое она была не готова. Тогда все вставало на свои места – страстная любовь трансформировалась в лютую ненависть. Мама так никогда и не отошла от этой истории. Так и не смогла простить.

Я с детства слышала, что врачам нельзя лечиться, что у них все наперекосяк и они самые невыносимые больные. Так странно – никто не смог папе поставить вовремя диагноз. Даже мама не смогла, а уж она, что называется, «сидела на потоке», на расстоянии видела болезнь. И папа – гений диагностики – не понял, что с ним. И его знаменитые, именитые, уважаемые коллеги не поняли. Симптомы были как по книжке. Но папа все усложнял, не думал, что все так просто и банально. Он любил загадки, сложные случаи, когда болит

голова, а оперировать надо ногу, или наоборот.

Сердце. Только Женя, следуя медицинскому справочнику, все время твердил про сердце. Он оказался прав, и это сыграло решающую роль. Папу положили на операцию. Должен был оперировать его ближайший друг и коллега, Марк Львович, Маркуша, но папа в последний момент попросил, чтобы оперировал Женя. Любимый ученик, поставивший правильный диагноз. Символично, благородно, безрассудно – абсолютно в папином духе.

Папа даже в этом случае, когда речь шла о жизни и смерти – его жизни и его смерти, – оставался немножечко актером. Наверняка он представлял себе красивую, идеальную картинку – ученик спасает учителя, преемственность поколений. Учитель поверил, ученик не подвел. Все аплодируют. Папа, мудрый, добрый и щедрый, смотрит, снисходительно прищурившись, на Женю, а тот, гордый и смущенный, принимает поздравления с удачной операцией. Да что там! С героическим подвигом. Спас! Спас! Я думаю, что эта картинка была у папы перед глазами.

Папа поручился за Женю головой. Друг не понял и обиделся, тоже театрально покрутив у виска пальцем, выходя из палаты. Мама валялась у папы в ногах, прося не совершать глупость, не играть в благородство, а подумать о ней, о дочери, о пациентах, о себе, наконец. Папа был непреклонен.

– У него нет опыта, – заламывала руки мама.

– У меня тоже когда-то не было опыта. Надо с чего-то на-

чинать, – отвечал папа.

– Не с чего-то, а с кого-то! С тебя! Ты же не крыса подопытная! Что с тобой? Очнись! Ты бы ни одного своего больного не доверил этому Соловьеву. Близко бы к столу не подпустил. Он даже не мясник, а просто младенец, который еще ложку держать не умеет.

– Все, разговор окончен, – отвечал папа.

Я пошла в него – упрямства и упертости папе было не занимать.

Мама тогда начала курить. Никогда не курила, а тут начала. И совсем замкнулась – перестала разговаривать. Сидела и тупо смотрела в книгу. Курила, ничего не ела и молчала.

– Ты подписываешь себе приговор, – сказал Маркуша папе уже перед самой операцией. – Остановись, пока не поздно. Твой Женя – безрукий напыщенный идиот. И ты идиот, раз этого до сих пор не понял.

Папа улыбнулся.

– Давай Соловьев будет ассистировать, – сделал еще одну попытку Марк Львович.

– Нет, я все решил. Он справится. Ты же знаешь, у меня чутье на таланты. Ты просто плохо о нем думаешь. Женька – хороший ученик. И не забывай, что только он поставил диагноз, а не ты.

Маркуша махнул рукой. Он и вправду сделал все, что мог. Даже разговаривал с самим Соловьевым.

– Откажись. Скажи, что ты болен, что порезался! – кри-



чал Марк Львович, заловив Женю в курилке и прижав его к стеклянной двери. – Ты не имеешь права к нему подходить. Ты его убьешь, понимаешь ты это или нет? – Марк Львович тряс его, как грушу, держа за грудки, но так ничего и не добился. Женя набычился и молчал. – Узколобый недоучка! – бросил Маркуша в отчаянии, последний раз встряхнув Женю.

Видимо, это слово – «узколобый» – Женю и задело больше всего. У него действительно был узкий лоб, волосы росли почти от бровей. И как он ни старался приподнимать их, зачесывая назад, не получалось. Женя считал, что узкий лоб – признак тупости, и злился еще больше. Он завидовал высокому, красивому лбу своего учителя и всем этим врачам, тому же Марку Львовичу, который умел шутить, нравиться женщинам, оперировать, петь под гитару, рассказывать анекдоты. Он все умел, и все ему давалось легко, играючи. Женя ненавидел таких людей, которые умели делать то, чему никогда не смог бы научиться он, даже если бы перечитал все учебники на свете.

Я никого не виню. Мама и Марк Львович – два человека, которые имели хоть какое-то влияние на папу, – разбились в лепешку, но ничего не добились.

– Ты сможешь, у тебя все получится, я в твоих руках, – говорил Жене папа перед операцией, глядя, как у его ученика трясутся руки, дергается рот и он пляшет ногами так, будто

сейчас описается.

Надо признать, что в последний момент Женя включил мозг. Хотя нет, мне кажется, он просто испугался. Он ведь был трус по натуре. Обычный среднестатистический трус. Он боялся взять на себя ответственность. Раньше это бремя нес за него папа, и решения принимал папа, и последнее слово оставалось за ним. Женя знал, что в случае чего ему ничего не будет. Сейчас у него за спиной никого не было. И он струсил.

– Я не смогу, – сказал он тихо, заикаясь, – я боюсь. Можно я не буду оперировать? Пусть Марк Львович... – Женя был уже в панике. – Пожалуйста, отмените...

Но даже тогда папа продолжил играть в доброго учителя.

– Это нормально, все боятся. И я боюсь. И мне бывает страшно. Даже сейчас. Каждый раз мне страшно. Нормальная реакция организма и психики. Но ты сможешь. Ты мой ученик. Не зря же я тебя выбрал и учил. У тебя все получится.

И тут Женя заплакал. Как маленький ребенок. Навзрыд. Когда детям страшно или они чего-то очень не хотят делать, они начинают плакать, зная, что взрослые пойдут на все, чтобы прекратить плач, истерику. Но папа не увидел в Жене ребенка, совсем мальчишку, который вдруг понял, что ничего не умеет. Папа и меня всегда считал взрослой. И разговаривал так же, на равных. Мама даже сердилась на него за это.

– Она маленькая. Она не понимает. Она не может себя

контролировать, — говорила она папе.

Но он упорно считал, что ребенок не должен капризничать, должен улавливать взрослый юмор и читать между проносимых строк.

В случае с Женей папа повел себя так же — велел идти мыться и готовиться. Женя пошел как на экзамен, который обязательно провалит, не понимая, за что ему такое наказание. Пошел только потому, что не пойти было нельзя, а сказаться больным — поздно и стыдно. За дверью все это время стоял Маркуша. Он все слышал, видел состояние Жени и не вмешался. Не знаю почему. Должен был вмешаться. Должен был провести операцию, потому что папе под наркозом было все равно. В конце концов, они могли вместе что-нибудь придумать — причину, по которой Женя не мог оперировать и за стол встал Маркуша. Он, закаленный на любовном фронте, врал легко, уверенно, правдоподобно, убедительно. Так, что невозможно было не поверить. Маркуша и сам начинал верить в то, что только что сочинил. И сейчас мог бы наврать, выкрутиться — ради друга. Но он стоял, смотрел, все видел и ничего не сделал. Наверное, он не смог пойти против друга, против его решения. Уважал его мнение, его право.

Повторяю, я никого не виню. Мне кажется, никто не виноват, кроме папы, который собственноручно подписал себе смертный приговор. Не провел грань между пациентом и врачом. Он в тот момент не был врачом, не имел права давать, принимать решение.

А мама... Она во всем случившемся обвинила Женю Соловьева и Лилечку. Про Лилечку позже расскажу. Тоже отдельная история, та еще.

Женя провел операцию. Я, если честно, не знаю, что именно тогда произошло. Папа пролежал в реанимации несколько суток, и его перевели в обычную палату. Все к нему ходили гуськом. Все, кроме Жени. Тот не зашел ни разу. И только потом стало понятно почему.

Опять же потом, много-много позже, я подумала, что папа специально лег под Женин нож, чтобы умереть красиво. Ради мамы. Мне вдруг подумалось: вдруг он все знал и вот именно так хотел уйти с ее дороги. Дать ей возможность жить с Женей или с кем-то другим свободно, спокойно. Он ведь прекрасно знал, что мама от него никуда не денется. Никогда. Потом мне показалось, что Марк Львович не вмешался тоже не просто так, а потому что хотел занять папину должность, что, кстати, и произошло впоследствии. Марк Львович, ближайший папин друг, всегда остававшийся на полшага сзади, стал главной звездой клиники, заняв вакантное место.

В этом я похожа на маму – ищу в поступках людей корыстные мотивы. Не верю в искренность.

– Зачем ты так? Ты же его совсем не знаешь, – говорил папа маме, когда та плохо о ком-то отзывалась.

– И знать не хочу, – отвечала она.

Мама в принципе не хотела никого «знать». Очень тяжело сходилась с людьми. У нее все были «под подозрением». Даже я.

Иногда она мне устраивала допросы. По пустякам. Хотела «поймать» и однажды поймала.

– Уроки сделала? – спросила она как-то меня вечером, придя с работы.

– Да.

– Чем еще занималась?

– Гуляла, – ответила зачем-то я, хотя все время просидела дома.

Мама подошла к батарее, где сушились мои ботинки. Сушились давно. Гулять я в них никак не могла. Она ничего не сказала, только кивнула, как будто в подтверждение своих мыслей: дочь врет.

Мелочь, ерунда, но мама после этого и мне перестала доверять. Слушала мои рассказы о школе, о подружках, учителях или контрольной с таким видом, что у меня пропадало всякое желание вообще открывать рот. Она сидела, кивала, а на лбу было написано: «Сколько процентов из того, что ты рассказываешь, правды, а сколько – лжи?» Папа был готов поверить во все что угодно, хоть в прилет марсиан на Землю. Он хотел и, главное, УМЕЛ верить людям. Это тоже особый талант – уметь верить, доверять, не сомневаться. В этом смысле ему было легче жить, чем маме, которая вечно пыталась пробраться в подкорку чужого головного мозга и

выяснить «первопричину». Надо признать, что, как правило, мама была права в своих оценках и подозрениях. С возрастом это ее «копание» превратилось в манию. А после смерти папы она перестала доверять даже собственному отражению в зеркале. Папа до конца оставался идеалистом. Верил в какую-то вселенскую доброту и счастье. Мама же считала, что за все, в том числе и за минуты счастья, надо платить, и счет непременно будет предъявлен – не сразу, так потом.

Мама всегда готовилась к худшему. Даже если мы собирались, например, в отпуск, мама просчитывала самые плохие варианты – не будет билетов, не придет вовремя такси, не окажется брони в пансионате.

– А ты не можешь хоть секунду не думать о плохом? Вот увидишь, билеты купим, машина приедет, все будет хорошо, – иногда даже злился папа.

И даже когда все шло гладко и папа поднимал победоносно руки – мол, я же тебе говорил, – мама продолжала хмуриться и ждать подвоха, который не заставлял себя ждать – в пансионате горячую воду включали по часам, или еда в столовой была отвратительной, или резко портилась погода, или я заболела. И тогда мама сама себе кивала – вот, я же говорила, пожалуйста, получите.

Я выросла такой же, как мама. Но иногда во мне просыпался папа, с его наивностью, щедростью и негибимой верой в людей. Эти два совершенно разных человека смешались во мне, мешая друг другу. А я иногда сходила с ума –

не могла жить так, как папа, но и смириться с маминым пессимизмом не хотела, запрещала себе.

С мамой я никогда не откровенничала. Даже когда хотела посоветоваться – не бросить ли музыкалку и не заняться ли чем-нибудь другим. Мне хотелось рисовать, шить, читать или вообще ничего не делать, и до чертиков надоели занятия музыкой. Таланта у меня не было, особого рвения тоже. Я хотела стать медсестрой, даже не врачом, а простой медсестрой – ухаживать, делать уколы, бинтовать.

Мне нужен был совет, поддержка. Нужно было, чтобы меня направили. Но я так ни маме, ни папе не сказала про свои внутренние мучения – окончила музыкальную школу и больше никогда в жизни не подошла к инструменту. Никогда в жизни. Даже никому не говорила, что у меня есть среднее музыкальное образование.

Почему я не могла подойти к родителям и спросить совета, как обычный подросток, который не знает, в какую сторону ему податься, не может принять решение и ждет, что за него это сделают родители?

Папа восторженно воспринял бы любую новость. Скажи я ему, что хочу стать медсестрой и поступить в медучилище, он бы поддержал меня двумя руками. Если бы я сказала, что хочу окончить музыкалку и пойти в музыкальное училище, он бы с тем же энтузиазмом ответил, что я все решила правильно. Он не умел трезво смотреть на жизнь.

А маме не хватало небольшой доли алкоголя в мозгу, спо-

способности немного расслабиться, отпустить ситуацию... Не хватало папиной бесшабашности. Она бы трезво начала просчитывать мое будущее. Опять думала бы о самом плохом развитии ситуации, что в первом случае я обреку себя на низкую зарплату и мелкое копошение в заштатной поликлинике, а во втором – на такое же прозябание в качестве музработника в детском садике. Хотя откуда она могла знать? Может, я была бы счастлива и занималась любимым делом?

Почему я вдруг вспомнила про курсы медсестер? Я ведь всегда мечтала стать врачом, как папа и мама, но никогда бы в этом не призналась.

Папа бы начал скакать от восторга, обзвонил бы полгорода, «поступил» меня в институт, потом устроил на работу к себе в больницу или в другую хорошую клинику. И я бы на всю жизнь оставалась дочерью такого-то – известного, блестящего хирурга. На меня всю жизнь смотрели бы снисходительно, как на папину дочку. А я была не настолько тщеславна и амбициозна, чтобы пытаться стать самостоятельной единицей и затмить папу, что было в принципе невозможно. Я не хотела, чтобы меня с ним сравнивали. Сравнение всегда оказывалось бы не в мою пользу. Это я знала точно.

Мама... мама же наверняка испугалась бы, что я повторю ее судьбу – стану хорошим ремесленником и буду всю жизнь сидеть на приеме. И всю жизнь у меня за спиной будут вспоминать, почему я оказалась в больнице – конечно же, по проекции. Мама билась, билась, но так и не смогла доказать,



что да – протекция была, но она – хороший специалист, знающий свое дело.

Внешне я была похожа на маму – не красавица совсем. Ни в каком месте. Мама всегда говорила, что мне может не повезти в жизни так, как ей, – встретить такого мужчину, как отец, который вдруг возьмет ее замуж. Она ведь так до конца и не поверила своему счастью. Думала, что папа завтра придет и скажет, что их брак был ошибкой и он уходит. Мама всю жизнь прожила как на иголках – ждала удара. Не верила в себя, не верила папе. Всю жизнь готовилась к разводу, к тому, что папа найдет себе умницу и красавицу и уйдет к ней, и это будет правильно, справедливо. Где папа и где она? Мама даже не фотографировалась с ним вместе. На фотографиях было видно, насколько они не подходят друг другу. Насколько разные. Даже на свадебной фотографии у папы – совершенно счастливый вид, не свойственный жениху. А у мамы брови сдвинуты, лицо серьезное, сосредоточенное, она готова к тому, что папа не поставит подпись в книге регистраций. Вот. Дождалась. Папа ушел. Только не к другой, а насовсем.

Так вот, когда папа умер в стенах родной, любимой больницы, мама решила, что в его смерти виноваты двое – Женя и Лилечка.

Лилечка была медсестрой. Именно она отвечала за папу в реанимации и потом, в общей палате. Это тоже было его

решение, его желание. Папа Лилечку обожал – мама шутила, что все дело в ее имени, сочетании звучного тягучего «л». Впрочем, Лилечку любили все. На самом деле папа сделал правильный выбор: Лилечка не просто ухаживала – она ставила на ноги безнадежных больных. Глядя на нее, хотелось жить. Что-то такое было в ее взгляде, грустном и нежном. Лилечка умела делать десять дел одновременно. На то, что у других медсестер уходил час, ей хватало пятнадцати минут. При этом она никогда не суежилась, не бегала. У нее были красивые, мягкие руки – нежные и бережные. Папу Лилечка обожала и готова была ради него на все.

Но так встали звезды. Так распорядилась судьба. Лилечка все-таки была живым человеком, женщиной. И в тот момент, когда она нужна была папе, ей было не до него. Эмоционально, внутренностями, кишками, которые она выворачивала ради тяжелого больного, она была не с ним.

Дело в том, что Лилечка когда-то была то ли второй, то ли третьей женой Маркуши, папиного друга Марка Львовича, гениального хирурга, только в силу происхождения не так обласканного руководством, как папа. Хотя и не без звездных клиентов, которые верили, что хороший врач должен быть непременно евреем. Маркуша был полной папиной противоположностью. Он был не идеалистом, а реалистом-пессимистом и по этой причине, как папа говорил, расп...ем.

Возможно, на этой почве он сдружился с моей мамой. Они

были очень похожи по поведению, по ощущениям, хотя в маме не было ни капли той крови, которая текла в жилах Маркуши. Но она обожала его циничный юмор, его обремененность, его готовность к любым поворотам судьбы. Когда Маркушу не отпускали на конференцию, в последний момент отстраняли от доклада на конференции, папа всегда за него вставал горой. Метал молнии, рвался доказывать и разбираться.

– Перестань, – мягко гассируя, останавливал друга Марк Львович, – еврейское счастье.

Именно на Маркуше всегда заканчивалась вода в чайнике и бефстроганов в столовой. Перед его носом уходил автобус, а если он садился в трамвай, то отключался ток в проводах. Марк Львович только смеялся.

Мама очень любила Маркушу, он всегда был в нашем доме желанным гостем. Видимо, в его лице она находила подтверждение своей теории, что «все будет не просто плохо, а очень плохо, а если будет хорошо, то потом все равно плохо». Мама даже мне говорила, что если я много смеюсь, то скоро обязательно буду плакать.

Марк Львович считался номером вторым в больнице. Номером первым был, конечно же, папа с идеальной биографией, идеальным единственным браком. Причина была не только в анкете, но и в поведении – Маркуша очень любил женщин и по своей натуре был очень порядочным человеком. На каждой своей избраннице он женился – раз и на-

всегда, потому что хотел стать настоящим еврейским папой, консерватором и пессимистом. Он мечтал, чтобы у него были красивые, кудрявые, умненькие детки, жена, которая умеет готовить фаршированную щуку. Да что там щуку – хотя бы просто готовить. Чтобы была возможность вздремнуть после обеда минут сорок и чтобы вся семья в этот момент ходила на цыпочках. Нормальные мечты, если разобраться.

Маркуша был влюбчив, неразборчив в связях, умен, циничен и расчетлив. Адское сочетание. К тому же он был врачом, очень хорошим врачом, который все понимал в природе генетики, наследственных связях и клинической картине. Именно поэтому у него не было детей: ни одна из его избранниц – а Маркуша на момент папиной смерти готовился к пятой свадьбе – не отвечала строгому генетическому отбору. То дед в анамнезе попадался шизофреник, то бабушка с плохими сосудами и кардиограммой. Эти факты Маркуша выяснял у очередной барышни сразу. Не засыпал, как все нормальные мужики, а садился на кухне, сам варил себе кофе и устраивал допрос. Маркуша был великим психологом. Барышни рассказывали ему то, что родной матери или гинекологу никогда бы не рассказали. Плакали, заламывали руки, в деталях описывая чокнутых родственников, рассказывая про аборты, курортные романы, лечение от гонореи, про спайки, миомы, эрозии и прочие жизненные и женские проблемы. Все они очень хотели за Маркушу замуж и пытались быть честными и порядочными. Маркуша слушал и ки-

вал с таким пониманием, такой любовью в глазах, что слезы девушек продолжали литься рекой, признания становились откровеннее, и ни одна из них не заподозрила Маркушу в том, что тот мысленно составляет анамнез, пишет «историю болезни». Ни одна из них после того, как Маркуша исчезал из их жизни так же неожиданно, как появлялся, не догадывалась, что причина в тех самых откровениях, в том самом душевном стриптизе, который на самом деле претил Маркуше. Каждый раз прекрасная принцесса оказывалась совсем не принцессой, а обычной дамочкой с «биографией».

Лилечка вроде бы подходила по всем параметрам – черненькая, кудрявая. Маркуша даже сначала принял ее за еврейку. Лилечка была красоткой – совсем не славянской внешности, хоть и русской по паспорту. К тому же – о чудо расчудесное – она умела готовить фаршированную щуку и форшмак и делала куриные котлетки не хуже, а то и лучше Маркушиной мамы, что само по себе удивительно, поскольку невозможно в принципе. Она была молчалива, замкнута, стеснительна. Когда Маркуша на очередных посиделках на кухне за чашкой кофе спросил о ее прошлом, Лилечка сделала огромные, как у лани, глаза и не ответила. Притворилась, что вопроса не услышала. Маркуша решил, что Лилечка невинна, как агнец, и влюбился без памяти, как никогда ни в кого не влюблялся, и женился в рекордные сроки, чтобы такое сокровище больше никому не досталось. Да, имелся еще один решающий момент – Лилечка по профессии была

педиатром, отчего Маркуша окончательно потерял голову. Одна профессия, одно дело, детки будущие будут в надежных руках, чего еще желать?

Лилечка была идеальной женой ровно год. Готовила форшмак и даже пекла нечто похожее на халу. Поздравляла Маркушу с Ханукой. Свечи не зажигала, но печеные яблочки, куриные котлетки – все было... Только детки не получались. Два выкидыша почти подряд. Лилечка на самом деле Маркушу не то чтобы любила, но здраво, по-женски, рассудила: муж из него получится идеальный – хочет семью, детей, надежный, зарабатывающий, все в дом, все в дом. Она ведь очень хотела, чтобы и дом, и муж, и дети. Даже в этом у Лилечки не было проблем, что Маркуша, конечно же, выяснил еще до свадьбы. В роду ни шизофреников (как у его первой жены), ни сердечников (как у второй), все живы-здоровы, никакой дурной наследственности в виде папаши – бродяги-командированного (как у третьей). Все хорошо: и Маркуша здоров, и Лилечка, а вот с детками никак.

Коллега-гинеколог, к которому Маркуша ходил вместе с Лилечкой, объяснил, что они слишком похожи, как брат и сестра, что организм Лилечки не хочет вынашивать детей от Маркуши – отторгает и выкидывает. Но можно пролечиться, подождать, расслабиться, переключиться, может произойти чудо... Это ведь не сердце, а совсем по-другому. Никто не знает, как именно, почему, в какой момент, по какой причине. Почему беременеют женщины, которым поставлен диа-

гноз «бесплодие», почему не могут родить совершенно здоровые девушки. Маркуша тогда очень разозлился на коллегу-гинеколога. Не поверил в его «Бог даст», обиделся, что тот не нашел решения проблемы. А Лилечка поверила абсолютно. Значит, им не дано, не за что им давать такое счастье – стать родителями. Лилечка повязала платочек и пошла в церковь. Маркуша, когда ее увидел, орал так, что слышали соседи:

– Ты совсем с ума сошла? Какой Бог? Это чистая медицина! Ты же медик, ты должна понимать! Надо проверить гормональный фон! Сдать еще анализы! Пойти к другому врачу! Я позвоню завтра же!

– Мы сдавали, врач не поможет, я слышала, есть такой камень, который... если приложишься, то забеременеешь, – шептала Лилечка.

– Ересь какая-то! – орал Маркуша.

– Ты здоров, я здорова... – бормотала Лилечка. – Значит, есть что-то еще, какая-то сила, которая нам неизвестна.

– Какая, на хрен, сила? – истерил Маркуша.

Так они спорили, точнее, спорил Маркуша, а Лилечка вяло кивала головой и собиралась поехать приложиться к камню.

К камню приложилась, не помогло. Тогда она решила – не сама, конечно же, добрые люди насоветовали, – что нужно мужа крестить, обвенчаться, и тогда... Бог пошлет.

Лилечка долго готовилась к разговору, репетировала пе-

ред зеркалом речь, аргументы приводила, примеры случившихся чудес...

Когда разговор состоялся, у Лилечки из головы вылетела вся речь, она смогла просто промямлить про крещение и чудо и быстренько вжала голову в худенькие плечики, боясь, что Маркуша сейчас начнет кричать, вопить и бить об ее голову тарелки. Того, что произошло, она не ожидала никак. Маркуша начал хохотать так, что скрутило живот. Он даже свалился под стол.

– Лилечка, ты дурында, – только и смог сквозь истерические спазмы хохота сказать Маркуша.

И это слово, «дурында», сказанное хоть и с любовью, Лилечку задело, больно царапнуло по самому сердцу. Она поняла, что Маркуша не хочет ребеночка, младенчика, и она, которая только об этом и мечтает, – «дурында».

На самом деле Марк Львович, конечно же, хотел детей. Но в случае с Лилечкой пришел к выводу, что где-то просчитался, не все выяснил. Видимо, были у жены, точно были проблемы со здоровьем – возможно, в детстве или юности, и сама Лилечка о них не знала или давно забыла.

Лилечка после этого перестала делать форшмак и лепить котлетки. Маркуша, правда, и не заметил – закрутил роман с медсестричкой, простой, как пять копеек, и понятной, как два плюс два: секс в ординаторской и никаких детишек, свадеб и форшмака.

Лилечка начала потихоньку попивать. Сама с собой, по



чуть-чуть. Маркуша дежурил, задерживался, а Лилечке было даже хорошо, потому что можно было выпить коньячка, которого в доме водилось в избытке, и лечь спать. Лилечка, страдавшая бессонницей, радовалась такому лекарству – легла одетая на диване и тут же уснула. Маркуша сначала пытался ее раздевать, переносить с дивана на кровать, а потом плюнул. Выключал телевизор, свет, укрывал пледом и уходил. Лилечка иногда просыпалась среди ночи от того, что давил бюстгальтер или резинка на колготках, шлепала в спальню, переодевалась в ночнушку, а потом и это перестала делать. Досыпала как есть, тем более что после вставаний-переодеваний заснуть уже не могла. Додремывала, долеживала кое-как, просыпалась с дурной, мутной головой, когда Маркуши дома уже не было. И она, поначалу мучившаяся совестью – завтрак не приготовила, не подала, опять радовалась: не нужно вставать к плите и что-то жарить.

Лилечка выпивала исключительно по вечерам – сначала с опаской, с оглядкой, быстро, торопливо, одним глотком. Боялась, что Маркуша вдруг придет, увидит и будет ругаться. Она и про себя так говорила: «Будет ругаться», как будто она маленькая, а Маркуша – большой, взрослый. Лилечка тщательно вымывала после себя рюмку, чистила зубы и всматривалась в зеркало – вроде бы не заметно. После коньячка становилось полегче – тоска вроде бы отступала, и мысли скакали, а не замирали одной, мертвой – «ребеночек, ребеночек». А так она думала про то, что надо бы приготовить ужин, что

Маркуша задерживается, смотрела телевизор. Иногда могла всплакнуть над чужими страстями. Звонила давно позабытым подругам, набравшись смелости. И совсем не обижалась, когда те, удивившись позднему звонку, не могли разговаривать – укладывали детей, мыли посуду и, если честно, совсем не хотели разговаривать с Лилечкой. О чем? Давно уже не о чем.

После второй вороватой рюмочки у Лилечки просыпалась жажда деятельности – она начинала чистить, мыть, разбирать вещи. После третьей возвращалась на диван, где сидела в ступоре, не замечая ни времени, ни картинок, мелькавших перед глазами.

Худенькой Лилечке много и не требовалось. Она даже от бокала шампанского пьянела сразу же.

Маркуша Лилечкино состояние не замечал долго. Возмутительно долго. Хотя все соседи уже были в курсе, и на работу Лилечка давно не ходила – была насильно отправлена в отпуск с пожеланием разобраться в своих проблемах и привести себя в норму. Маркуша в это время страдал – роман с медсестричкой перешел в завершающую стадию, с чем та никак не хотела смириться: звонила, подкарауливала, плакала. Маркуша не мог исчезнуть из больницы и не хотел расставаться с медсестричкой – она, он это помнил и за это коротко полюбил, была молодая, веселая, легкая. И он скучал по ее легкости, молодости, бездумности. В общем, ему было не до Лилечки, которая перестала прятаться и пила в от-

крытую. Много и совсем уже неприлично. Засыпала за столом, запустила квартиру и себя. В таком, совершенно мерзком виде, пьяную, мятую, дурную и отвратительную Маркуша однажды сгреб жену с пола в прихожей – видимо, она шла в туалет, но упала по дороге и уснула. Сложил трупиком на кровать, проверил зрачки, пульс, закурил и стал составлять клиническую картину. Картина вырисовывалась совсем тоскливая. Утром Маркуша отвез Лилечку в наркологическую клинику к своему однокурснику.

Лилечка вышла из клиники тише прежнего, виноватая, похожая на драную побитую кошку с заискивающим взглядом и трясущимися руками. Она заглядывала в лицо Маркуши, как будто о чем-то просила. Ему становилось еще противнее. Лилечка неделю крутила на мясорубке форшмак, варила по утрам каши, мыла, стирала и даже неловко подкрашивала губы и ресницы к приходу мужа. Видимо, все-таки плакала – тушь размазывалась и ложилась пятнами под глазами. Маркуша ужинал, глядя в тарелку, борясь с желанием вытереть черные пятна на лице у жены. Жены? Маркуша вдруг вздрогнул. Жены? Какая Лилечка ему жена? Чужая женщина. Очередная чужая женщина. Алкоголичка. Некрасивая, больная, бледная, затюканная, с остановившимся на нем взглядом – то ли просящим, то ли обвиняющим.

Надо отдать должное Маркуше – до развода он еще дважды отвозил Лилечку в клинику, где ее «чистили», «прокапывали», «зашивали». Даже устроил на работу – к себе

в больницу медсестрой. Зашитая, она работала тихо, качественно, столько, сколько потребуется. Приносила на работу домашние пирожки, пекла куличи на Пасху. Кормила все отделение. Маркуша дома почти не ел – не мог, начинало тошнить.

Лилечка помнила дни рождения чуть ли не всех сотрудников, поздравляла. Выходила на подмену, дежурила. Но странное дело: все, абсолютно все – до последней санитарки, продолжали обожать Маркушу, а ее, Лилечку, в лучшем случае жалели. Ели ее пирожки, нахваливали куличи и шептались – мол, дурында, такого мужика упустила. Лилечка душой не была – она все видела, все слышала. Иногда ей хотелось закричать, что это Маркуша во всем виноват, что это по его вине она начала пить, что это он не хочет ребенка, а хочет жить, гулять, работать для себя.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.